

вать переписку великая самодержица – воспетая Г. Р. Державиным, мудрейшая Фелица. Именно она способствовала распространению трудов Вольтера и Дидро в читающей России. Ответом на эту атаку философского скептицизма и могла бы послужить блистательная ода Г. Р. Державина «Бог»:

Твоё создание я, создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!

140

А в двадцатом веке, в годы тотального советского атеизма, на которые пришёлся период формирования творческого мировоззрения Равиля Бухараева, было ещё труднее обрести себя и выйти на стезю истинной веры. Об этом трудном пути советского интеллигента из тьмы неверия к свету веры была написана Р. Р. Бухараевым в девятностые годы книга «Дорога Бог знает куда». Она выдвигалась на престижные литературные премии и выдержала мно-

го переизданий. Для Г. Р. Державина в век расшатывания религиозных устоев было главным не потерять веру, а для Р. Р. Бухараева главной задачей его творческой и личной жизни было её обрести, о чём он и сказал в своём грандиозном поэтическом полотне – романе в стихах, написанном дантовскими терцинами «Моление о чаше»:

Аминь. Безбожный опыт подытожен.
Дорогою Бог ведает куда
иду, и сколько этот мир ни сложен,
он только испытаний череда;

Нет никого меж мною и Всевышним;
так я свободен не был никогда...

Хочется надеяться, что мировоззренческий параллелизм Гавриила Державина и Равиля Бухараева, заявленный здесь слишком бегло, всё же вполне убедителен и очевиден. Многие темы требуют более развёрнутого анализа, что могло бы стать темой серьёзного научного исследования в будущем.

вступление к роману в стихах

Равиль Бухараев

Комментарии к любви

...как чуден сад,
где бронзовый Державин,
или Гермес? – в осеннем сне листья
задумчив, строг, ещё не переплавлен,
и – лавровый венок поверх главы!

Прислушиваясь:

что там шепчут боги? –
он держит в пальцах вечное стило.

Летит, алея, лист на складки тоги,
но зелен лавр, венчающий чело.

Весь в окиси, в сусальном свете солнца, –
острее профиль гордого лица.

Сад угасает...

Фонаря оконце
зажглось вблизи парадного крыльца
Дворянского собрания, чья арка
отбрасывает стрельчатую тень.

Стон вальса от Панаевского парка
достойно завершает долгий день.

Вечерний город башенок и шпилей,
решётчатых балконов, львиных морд,
застыл вокруг сада в совмещеньи стилей,
губернской исключительностью горд.

Провинциальной ностальгией болен,
готов он возвестить во все концы:
союзы с позолотой колоколен
мечетей азиатских изразцы!

Он вправду обстоятелен и чётко,
тосклив, как в небе – угол журавлей,
вечерний город флюгеров-трещоток,
чугунных кружев, кованных решёток,
трилистников, узорных вензелей...

...не пощадив допушкинской элиты,
прошли года. Исчез в Казани сад.
Из статуи подсвечники отлиты,
никто не знает, где они лежат...
Казанский старожил, эпикуреец,
вознёсся в голубые небеса...
Унылый Ганс, военнопленный немец,
воздвиг на месте статуи леса:
конвойный ВОХРа гнал или досада
храм оперы сложить по кирпичу, –
возник взамен Державинского сада
театр – как дань скрипичному ключу.

Виток диалектической спирали,
осенней охры проколов листок,
донёс его из той вечерней дали,



Равиль Бухарев

где неподкупен, нежен и жесток,
прислушиваясь: что там шепчут боги? –
Державин держит вечное стило.

Окислясь, зеленеют складки тоги;
венчает обруч лавровый чело.

Кто скажет мне,
я был или казался?

Зачем,
куда Казанью ни иду,
преследует меня рыданьем вальса
оркестр в давно исчезнувшем саду?

Его надрыв печали предвоенной,
поддержан чистой полковой трубой,
плывёт по вечеряющей вселенной
в преддверье самой первой мировой...

Два времени, два мира ощущая,
терпя эпох трагический разрыв,
я слышу, как, пространство освящая,
звучит валторны и трубы надрыв,
но тут же, как непостижимый ребус
для постцусимской памяти людской,
оглоблями снимая ток, троллейбус
шуршит на бывшей улице Лецкой...

На крыше флюгер заменён антенной,
но – из былых тревог, издалека
плывёт по вечеряющей вселенной
вселенская гражданская тоска...

...жизнь уплывает, как песок сквозь пальцы...
К истокам возвращаются опять
дом Кекина и здания-скитальцы,
плывёт и уплывает Время вспять;
сливаясь в синеве с вечерним светом,
мерцающим, как звёздный ореол,
плывут жасмины с бронзовым поэтом,
Дворянское собрание, костёл...

Коледается мираж, как дымка сада...
Мир, стронутый валторной и трубой,
плывёт, со щедрой мощью водопада
всё сущее сроднив между собой...

Я недвижим в потоке, свет струящем;
вселенского родства вбирая суть,
могу на то, что бросил в Настоящем,
из Прошлого мечтательно взглянуть.

Иное имя вечности известно,
сумевшее сквозь предрассудков гнусь
в одном стихе возвышенно и честно
объединить Татарию и Русь!

Оно – грядущей истины предвестье.
Глаза – горé! И сквозь туман вникай,
как в небе загорается созвездье:
Державин... Пушкин... Лермонтов... Тукай.

Он предо мной возник звездой эпохи,
рождённой озарять и гневом жечь!
Здесь ни при чём чахоточные бронхи,
здесь космос претворён в живую речь!

Но на Земле – оказия какая! –
хотя уже разверста в космос даль,
искать вокруг Державина Тукая
бессмысленно и, право слово, жаль...

Страданию причастен и надежде,
он – Человек. Я плакал бы о нём,
когда бы тем не потакал невежде
там, в Будущем всеведущем моём...

Облокотясь о мокрую ограду,
почувствую, что жив жасмин сырой...
Тукая не спасти. Он выбрал Правду.
Но жив его несбывшийся Герой!

Найти Героя!

В пелерине штатской,
уверенный в себе не по летам,
спускаюсь я к вечерней Рыбнорядской,
преследуемый вальсом по пятам...

1983